



Оноре де Бальзак

Полковник Шабер

Перевод с французского
Надежды Жарковой

ФТМ



Человеческая комедия

Оноре Бальзак
Полковник Шабер

«ФТМ»

1832

Бальзак О. д.

Полковник Шабер / О. д. Бальзак — «ФТМ»,
1832 — (Человеческая комедия)

Быть похороненным дважды и все равно остаться живым. Родиться в приюте для подкидышей, умереть в богадельне для престарелых, а в промежутке меж этими рубежами помогать Наполеону покорить Европу и Египет – что за судьба! судьба полковника Шабера.

Оноре де Бальзак Полковник Шабер

– Смотрите-ка, кто идет! Опять эта старая шинель к нам пожаловала!

Восклицание это вырвалось у юного писца из породы тех, кого в адвокатских конторах обычно зовут *мальчишками на побегушках*; он стоял, опершись о подоконник, и с аппетитом уплетал кусок хлеба; отщипнув немножко мякиша, насмешник скатал шарик и швырнул его в форточку. Пущенный меткой рукой, шарик подскочил почти до самой оконницы, стукнувшись предварительно о шляпу какого-то незнакомца, который пересекал двор дома по улице Вивьен, где проживал поверенный по делам г-н Дервиль.

– Хватит, Симонен, перестаньте дурачиться, а то я выставлю вас за дверь. Любой, самый бедный клиент, черт побери, прежде всего человек, – сказал письмоводитель, отрываясь от составления счета по судебным издержкам.

Обычно мальчик на побегушках – и Симонен не был исключением из общего правила – это юнец тринадцати – четырнадцати лет, который состоит в личном распоряжении письмоводителя и, бегая с повестками по судебным приставам и с прошениями в суд, выполняет частные поручения своего шефа и разносит также его любовные записки. Повадки у него – как у всех парижских мальчишек, а его участь – участь судейских щелкоперов. Такой юнец обычно не знает ни жалости, ни удержу, он неслух, пересмешник, сочинитель куплетов, выжига, лентяй. И все же почти у каждого такого малолетнего писца где-нибудь на шестом этаже есть старушка-мать, с которой он делит тридцать или сорок франков – все свое месячное содержание.

– А раз он человек, так почему же вы прозвали его старой шинелью? – спросил Симонен с невинным видом школьника, подловившего учителя на ошибке.

И он вновь принялся за хлеб с сыром, прислонившись плечом к косяку окна, ибо, подобно почтовым лошадям, привык отдыхать стоя; и сейчас он стоял, согнув в коленке левую ногу и слегка опершись носком правого башмака.

– Какую бы шутку сыграть нам с этим чучелом? – вполголоса произнес Годешаль, третий писец, прервав ход доказательств, из коих рождалось прошение, которое он диктовал четвертому писцу, меж тем как два новичка-провинциала тут же изготовляли копии.

Затем он возобновил свою импровизацию:

– ...но по великой и многомудрой милости своей его величество король Людовик Восемнадцатый (последнее слово полностью, слышите вы, Дерош, мудрый чистописатель!), взяв в свои руки бразды правления, постиг (а ну-ка, что он там такое постиг, этот жирный шут?) высокую миссию, к выполнению коей был он призван божественным промыслом!... (знак восклицательный и шесть точек – не бойтесь, судейские святоши возражать не станут!). И первой заботой его явилось, что и следует из даты упоминаемого ниже ордонанса, уврачевать раны, причиненные ужасными и прискорбными бедствиями революционного времени, восстановив верных и многочисленных слуг своих (многочисленных – это должно польстить в суде!) во владении всем непроданным их имуществом, буде оно находилось в общественном пользовании, в обычном или чрезвычайном владении казны, буде, наконец, в дарственном владении общественных учреждений, ибо мы с полным на то основанием утверждаем, что именно таков смысл и дух прославленного и справедливого ордонанса, изданного в... Стойте-ка, – воскликнул Годешаль, обращаясь к писцам, – эта треклятая фраза расплзлась на всю страницу! Так вот что, – продолжал он, проводя языком по корешку тетради, чтобы разнять склеенные листы толстой гербовой бумаги, – если вам хочется сыграть с ним шутку, давайте скажем, что наш патрон принимает посетителей только от двух до трех

часов утра. Посмотрим, приплетется ли тогда еще раз эта старая шельма! – И Годешаль вернулся к начатой фразе: – ...изданного в... Готово? – спросил он.

– Готово! – откликнулись хором писцы.

Все – диктовка, болтовня и заговор – шло одновременно.

– ...изданного в... Папаша Букар, каким же числом датирован этот ордонанс? Надо поставить точки над «i», канальство! Всё лишние страницы набегут!

– Канальство... – повторил один из писцов, прежде чем письмоводитель Букар успел ответить.

– Как, вы написали «канальство»?! – воскликнул Годешаль, бросив на новичка уничтожающий и в то же время насмешливый взгляд.

– Ну да, – ответил Дерош, четвертый писец, наклонившись над копией своего соседа. – Он написал: «Надо поставить точки над i» и «канальство» через два «н».

Все писцы разразились громким смехом.

– Значит, вы, господин Гюре, полагаете, что канальство – термин юридический, и еще имеете смелость утверждать, что вы родом из Мортани! – ввернул Симонен.

– Подчистите эту фразу, да хорошенько, – сказал письмоводитель. – Ежели член суда, облагающий пошлиной акты, заметит эти шуточки, он решит, что мы не уважаем его бумаго-марательства. Из-за вас, чего доброго, у патрона могут быть неприятности. Прошу вас, господин Гюре, впредь таких глупостей не писать. Нормандец обязан думать, когда он составляет прошения. Это, так сказать, альфа и омега нашего сословия.

– ...изданного в... в?.. – переспросил Годешаль. – Скажите же наконец, когда, Букар!

– В июне месяце 1814 года, – ответил письмоводитель, не отрываясь от своих бумаг.

Стук в дверь прервал на полуслове диктовку многословного прошения. Все пятеро писцов, крепкозубые, с блестящими насмешливыми глазами, подняли всклокоченные головы, обернулись к дверям и воскликнули нараспев:

– Войдите!

Один Букар продолжал спокойно сидеть, склонившись над грудой дел, именуемых на судейском жаргоне «мелочью», и составлял бесконечные счета по судебным издержкам.

Контора представляла собой просторную комнату со старинной печью – неизбежным украшением любого вертепа крючкотворства. Трубы, пересекавшие комнату по диагонали, сходились у заколоченного камина, на мраморной доске которого лежали куски хлеба, треугольные сырки бри, свиные котлеты, стояли стаканы, бутылки, чашка шоколада, предназначавшаяся для старшего письмоводителя. Ароматы пищи так основательно смешивались с чадом от жарко натопленной печи, с непередаваемым запахом, свойственным адвокатским конторам и залежавшимся бумагам, что даже зловоние лисьей норы было бы здесь нечувствительным. На полу, там, где наследили писцы, расплылись грязные лужицы подтаявшего снега. Возле окна стояло бюро с выпуклой поднимающейся крышкой, за которым восседал сам письмоводитель. К бюро был приставлен небольшой столик для его помощника. Помощник сейчас как раз «занимался судом». Было примерно восемь – девять часов утра. Единственное украшение комнаты составляли огромные желтые афиши, извещавшие о наложении ареста на недвижимое имущество, об аукционах при распродаже наследства, окончательных и предварительных судебных решениях – словом, все славные трофеи юридических контор. За спиной старшего письмоводителя стоял большой, во всю стену, шкаф; полки его были битком набиты связками бумаг, с которых сотнями свисали ярлычки и кончики красных шнурков – своеобразное отличие судейских документов. На нижних полках шкафа хранились пожелтевшие от времени папки, оклеенные по корешку синей бумагой, на которых можно было прочесть фамилии крупных клиентов, чьи лакомые дела «обстрепывались» в конторе. Грязные оконные стекла скупно пропускали дневной свет. Впрочем, в Париже вряд ли найдется контора, где можно писать без лампы февральским ранним

утром, ибо все подобные места находятся в небрежении, что впрочем вполне понятно. Сюда заходят десятки людей, но ни один не задерживается здесь: банальное не привлекает ничьего внимания. Ни сам поверенный, ни его клиенты, ни его писцы не дорожат благообразием помещения, которое для одних – классная комната, для других – проходной двор, для хозяина – кухня. Засаленную мебель передают из одних рук в другие с такой благоговейной щепетильностью, что в некоторых конторах и поныне еще можно обнаружить корзинки для бумаг и особые мешки с завязками, восходящие еще ко временам прокуроров при «Шле» – так сокращенно называлось «Шатле», что обозначало при старом режиме суд первой инстанции.

Как и все адвокатские конторы, эта полутемная, покрытая слоем жирной пыли комната, внушавшая посетителям отвращение, принадлежала к самым гнусным уродствам Парижа. Правда, существуют в Париже такие клоаки поэзии, как промозглая церковная ризница, где молитвы отсчитывают и продают, будто бакалейный товар, да лавчонка перекупщицы, где развешанное у входа тряпье умерщвляет все наши иллюзии жизни, показывая человеку, чем кончаются его радости, – но если не считать их, этих двух клоак, контора стряпчего – самое мерзкое из всех мест социального торга. Недалеко от них ушли игорные дома, суды, лотереи, злачные места. Почему? Быть может, потому, что драмы, разыгрывающиеся в душе человека, посетителя таких мест, делают его невосприимчивым к внешнему; этим же объясняется, быть может, невзыскательность великих умов и великих честолюбцев.

– Где мой ножик?

– Я завтракаю!

– Эх, черт, посадил на прошение кляксу!

– Тише, господа!

Все эти восклицания раздались как раз в ту самую минуту, когда старый посетитель закрыл за собой дверь с той смиренной робостью, которая сковывает движения людей обездоленных. Незнакомец попытался было улыбнуться, но он тщетно искал хоть проблеска приветствия на неумолимо безмятежных физиономиях писцов, и улыбка сбежала с его лица. Умея, должно быть, неплохо разбираться в людях, он с отменной вежливостью обратился к Симону в надежде, что хоть этот юнец соизволит ему ответить.

– Могу я, сударь, увидеть вашего патрона?

Шалун ничего не ответил несчастному старику и только легонько постучал пальцами возле уха, как бы говоря: «Я глухой!»

– Что вам угодно, сударь? – спросил Годешаль, проглотив огромный кусок хлеба, которым можно было бы зарядить пушку, затем поиграл ножичком и закинул ногу на ногу так, что одна нога у него взлетела чуть ли не вровень с носом.

– Я прихожу сюда, сударь, в пятый раз, – ответил посетитель. – Мне хотелось бы переговорить с господином Дервилем.

– У вас к нему дело?

– Да, но я могу изложить его только самому господину...

– Патрон спит. Если вы хотите посоветоваться с ним по поводу каких-нибудь затруднений, приходите после полуночи, он только тогда всерьез принимается за работу. Но ежели вы пожелаете посвятить нас в ваше дело, мы поможем вам не хуже его.

Незнакомец не шелохнулся. Он смиренно и боязливо озирался вокруг, как собака, прощмыгнувшая украдкой в чужую кухню и ожидающая пинка. Одно из преимуществ профессии писца состоит в том, что ему не приходится опасаться воров; поэтому писцы г-на Дервиля не заподозрили ни в чем дурном человека в шинели и не мешали ему обозревать помещение, в котором он тщетно искал, куда бы присесть, так как, видимо, был сильно утомлен. В конторе стряпчего умышленно не ставят лишних стульев. Пусть какой-нибудь клиент попроще, устав от долгого стояния, и поворчит, уходя из конторы, зато он не отнимет лиш-

него времени, которое, по выражению одного бывшего прокурора, еще до сих пор не «таксировано».

– Сударь, – ответил старик, – я уже имел честь предварить вас, что могу изложить свое дело только самому господину поверенному. Я подожду, когда он проснется.

Букар закончил свои подсчеты. Привлеченный запахом шоколада, он встал с плетеного кресла, подошел к камину, смерил старика взглядом и, присмотревшись к его поношенной шинели, соорудил неопишемую гримасу. Должно быть, он увидел, что, как ни жми этого клиента, из него не выжмешь ни сантима, и, желая избавить контору от невыгодного посетителя, решил вмешаться и положить конец разговору.

– Они сказали вам правду. Патрон работает только по ночам. Если у вас важное дело, советую зайти к нему в час ночи.

Старик растерянно взглянул на письмоводителя и, казалось, застыл на месте. Привычные к прихотливой игре человеческих физиономий, к странным повадкам клиентов, в большинстве своем людей нерешительных и тяжелодумов, писцы забыли про старика и продолжали завтракать, шумно, как лошади, перемалывая челюстями пищу.

– Что ж, сударь, я найду нынче вечером, – произнес старик, который с настойчивостью, присущей всем несчастным, хотел вывести лжецов на чистую воду.

Единственный вид мщения, доступный обездоленным, – поймать правосудие и благотворительность на недостойных увертках. Изобличив несправедное общество, бедняк спешит обратиться к богу.

– Ну и упрямая же башка! – воскликнул Симонен, не дожидаясь, когда за стариком захлопнется дверь.

– Его как будто из могилы вырыли, – вставил один из писцов.

– Вероятно, это какой-нибудь бывший полковник, хлопочет о пенсии, – сказал письмоводитель.

– Ничего подобного, он просто бывший привратник, – возразил Годешаль.

– Хотите пари, что он из благородных? – воскликнул Букар.

– Бьюсь об заклад, что швейцар, – заявил Годешаль. – Одни только отставные швейцары самой природой предназначены носить такие потрепанные, засаленные шинели с разодранными полами. Видели, какие у этого старика стоптанные, дырявые сапоги? А галстук? Галстук у него вместо рубашки. Да он наверняка под мостами ночует.

– Можно быть дворянином и отворять двери жильцам, – воскликнул Дерош. – Случается ведь!

– Нет, – возразил Букар среди дружного смеха, – бьюсь об заклад, что в тысяча семьсот восемьдесят девятом году он был пивоваром, а при Республике – полковником.

– Что ж, если он когда-нибудь был военным, я проиграл пари и поведу вас всех на какое-нибудь представление.

– Ладно, – ответил Букар.

– Сударь, сударь! – закричал юный Симонен, распахивая окошко.

– Что ты там опять затеял, Симонен? – спросил Букар.

– Я позвал его, чтобы спросить, полковник он или привратник. Пускай сам скажет.

Писцы так и покатались со смеху. Тем временем старик уже поднимался по лестнице.

– А что мы ему скажем? – воскликнул Годешаль.

– Предоставьте это мне! – заявил Букар.

Несчастный старик робко вошел в комнату, не поднимая головы, чтобы при виде еды не выдать себя голодным блеском глаз.

– Сударь, – обратился к нему Букар, – не сообщите ли вы нам вашу фамилию на тот случай, если патрон пожелает узнать...

– Шабер.

– Шабер? Уж не тот ли полковник, что был убит при Эйлау? – осведомился Гюре, которому не терпелось тоже сострить.

– Он самый, сударь, – ответил старик с величавой простотой.

И он вышел из конторы.

– Выиграл!

– Ну и умора!

– Уфф!

– О!

– А!

– Бум!

– Ай да старик!

– Тру-ля-ля!

– Вот так штука!

– Господин Дерош, вы задаром пойдете в театр, – обратился Гюре к четвертому писцу, награждая его толчком, который свалил бы и носорога.

Засим последовала буря восклицаний, криков, смеха, для изображения коих пришлось бы исчерпать весь запас звукоподражаний.

– А в какой театр мы пойдем?

– В Оперу, – объявил письмоводитель.

– Прежде всего, – сказал Годешаль, – театр вовсе не был оговорен. При желании я могу сводить вас поглядеть на мадам Саки.

– Мадам Саки не представление!

– А что такое представление вообще? – продолжал Годешаль. – Давайте выясним сначала фактическую сторону дела. На что я держал пари, господа? На представление! А что такое представление? То, что представляется взору...

– Но, исходя из этого, вы, чего доброго, покажете нам в качестве представления воду, бегущую под Новым мостом, – перебил его Симонен.

– ...то, что представляется взору за деньги, – закончил Годешаль.

– Но за деньги можно видеть тысячу вещей, которые отнюдь не являются представлением. Определение грешит неточностью, – вставил Дерош.

– Да выслушайте вы меня наконец!

– Вы запутались, дружище, – сказал Букар.

– Курциус – представление или нет? – спросил Годешаль.

– Нет, – возразил письмоводитель, – это кабинет восковых фигур.

– Ставлю сто франков против одного су, – продолжал Годешаль, – что кабинет Курциуса есть собрание предметов, которое можно именовать представлением. Он содержит нечто, что можно обозреть за различную плату, в зависимости от занимаемого места.

– Вот уж чепуха! – воскликнул Симонен.

– Берегись, как бы я не влепил тебе затрещину, слышишь! – пригрозил Годешаль.

Писцы пожали плечами.

– Впрочем, вовсе еще не доказано, что эта старая обезьяна над нами не подшутит, – промолвил Годешаль под взрывы дружного хохота, заглушившего его рассуждения. – На самом деле полковник Шабер давно умер, супруга его вышла вторично замуж за графа Ферро, члена государственного совета. Госпожа Ферро – одна из наших клиенток.

– Прения сторон переносятся на завтра, – заявил Букар. – За работу, господа! Хватит бездельничать! Заканчивайте побыстрее прошение, оно должно быть подано до заседания Четвертой палаты. Дело будет разбираться сегодня. Итак, по коням!

– Если это полковник Шабер, почему же он не дал хорошего пинка негоднику Симонену, когда тот разыгрывал перед ним глухого? – спросил Дерош, полагая, очевидно, что это аргумент более веский, нежели речь Годешалья.

– Поскольку дело не выяснено, – заявил Букар, – условимся пойти во Французский театр, во второй ярус, смотреть Тальма в роли Нерона. Симонен будет сидеть в партере.

Сказав это, письмоводитель направился к своему бюро, остальные последовали его примеру.

– *...изданного в июне тысяча восемьсот четырнадцатого года* (последние слова полнотью), – произнес Годешаль. – Готово?

– Готово! – откликнулись оба переписчика и писец; перья их заскрипели по гербовой бумаге, и комната наполнилась шумом и шорохом, как будто сотня майских жуков, посаженных школьником в бумажный фунтик, разом зацарапалась об его стенки.

– *И мы надеемся, что господа судьи...* – продолжал импровизатор. – Стойте-ка! Давайте я перечту фразу. Я сам уж теперь ничего не понимаю.

– Сорок шесть... (Что ж! Бывает! Бывает!) и три, итого сорок девять, – пробормотал Букар.

– *И мы надеемся,* – продолжал Годешаль, перечитав написанное, – *что господа судьи окажутся достойными августейшего творца ордонанса и оценят по достоинству нелепые притязания со стороны администрации капитула ордена Почетного легиона, дав закону широкое толкование, предложенное нами здесь...*

– Не угодно ли вам, господин Годешаль, стаканчик воды? – спросил юный писец.

– Вечно этот пустомеля Симонен! – воскликнул Букар. – А ну-ка, живо! Бери пакет и несись на своих на двоих в Дом инвалидов.

– *...предложенное нами здесь,* – продолжал Годешаль. – Прибавьте: *в интересах господа* (полностью!) *виконтессы де Гранлье.*

– Как! – воскликнул старший письмоводитель. – Вы отваживаетесь составлять прошения по делу виконтессы де Гранлье против Почетного легиона, которое контора ведет на свой риск! Вы, как я вижу, простофиля! Соболаговолите сохранить копии и черновики, они мне пригодятся в деле Наварренов против богоугодных заведений. А сейчас уже поздно, я сам напишу коротенькое прошение с необходимыми «принимая во внимание» и пойду в суд...

Подобные сцены принадлежат к бесчисленным развлечениям молодости, и, вспоминая их на склоне лет, обычно говорят: «А славное все-таки было времечко».

Около часу ночи незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, постучался у дверей г-на Дервиля, поверенного в делах при суде первой инстанции Сенского департамента. Привратник сообщил ему, что г-н Дервиль еще не возвращался. Старик сослался на то, что ему назначено прийти, и поднялся к знаменитому правоведа, слышшему, несмотря на свою молодость, одной из самых светлых голов Судебной палаты. Посетитель неуверенно позвонил и с немалым удивлением увидел письмоводителя, раскладывавшего на обеденном столе в столовой Дервиля многочисленные папки с делами, подготовленными к слушанию на следующий день. Письмоводитель, не менее удивленный, поздоровался с полковником и попросил его присесть. Посетитель сел.

– Ей-богу же, сударь, я решил, что вы подшутили надо мной вчера, назначив для посещения такой поздний час, – сказал старик с вымученной веселостью бедняка, пытающегося казаться любезным.

– Писцы шутили, и, тем не менее, они сказали правду, – ответил старший письмоводитель, продолжая свою работу. – Господин Дервиль отвел это время для подготовки дел: он обдумывает методы защиты, подбирает доказательства, предусматривает возможные осложнения. Его удивительный ум чувствует себя наиболее свободно в эти часы, когда ночная тишина и спокойствие благоприятствуют появлению удачных мыслей. С тех пор

как он практикует, вы третий по счету, кто получит совет в такой час. Возвратившись домой, наш патрон изучит каждое дело, прочтет все от доски до доски, просидит за работой пять – шесть часов, потом вызовет меня и даст мне указания. Утром, с десяти до двух, он принимает посетителей, а остаток дня посвящает деловым свиданиям. Вечерами он бывает в обществе, чтобы поддержать необходимые связи. Таким образом, в его распоряжении остается только ночь, для того чтобы вникнуть в судебные решения, порыться в арсенале кодексов, наметить план битвы. Он не хочет проиграть ни одного процесса, он любит свое искусство. В отличие от многих своих коллег он не возьмется за любое дело. Такова его жизнь. На редкость деятельный человек! Ну, и зарабатывает он немало.

Слушая объяснения письмоводителя, старик хранил глубокое молчание, и Букар, мельком взглянув на его странную физиономию, не озаренную ни малейшим проблеском мысли, решил оставить его в покое. Через несколько минут появился Дервиль, он был в бальном фраке. Письмоводитель отпер ему дверь и снова взялся за свои папки.

Мгновение изумленный молодой стряпчий стоял неподвижно, стараясь разглядеть в полумраке необычайного посетителя. Полковник Шабер тоже застыл на стуле, и его можно было принять за восковую фигуру из того самого кабинета Курциуса, куда Годешаль предлагал сводить своих друзей. Впрочем, сама по себе эта неподвижность не бросалась бы так в глаза, если бы она не довершала того сверхъестественного зрелища, какое являл собой весь облик полковника. Старый солдат был на редкость сух и тощ. Гладкий парик, намеренно надвинутый на лоб, придавал ему таинственный вид. Глаза были словно подернуты прозрачной пленкой; напрашивалось сравнение с помутневшим перламутром, переливающимся в свете канделябров синеватыми отблесками. Бледное, без кровинки, лицо, узкое, как лезвие ножа, если позволительно прибегнуть к такому избитому выражению, казалось лицом мертвеца. Шея была повязана плохоньким галстуком из черного шелка. Густая тень окутывала все, что находилось ниже этой грязной тряпицы, и человек с пылким воображением мог бы подумать, что это лицо – фантастическое порождение мрака, или принял бы его за портрет кисти Рембрандта, вынутый из рамы. Поля низко надвинутой на лоб шляпы бросали черную полосу тени на всю верхнюю часть лица. Эта причудливая, хотя и вполне объяснимая игра света подчеркивала в силу резкого контраста извилистые и холодные линии глубоких морщин, общий мертвенный тон этого бескровного, как у покойника, лица. И, наконец, полнейшая неподвижность тела, этот взгляд, лишенный тепла, как нельзя полней отвечали выражению какого-то унылого безумия, унижительным приметам идиотизма и придавали лицу старика зловещее выражение, которое нельзя передать словами. Но человек наблюдательный, и тем более юрист, мог распознать на лице сраженного судьбою старца отпечаток глубокой скорби, следы бед, исказивших черты подобно тому, как дождь капля за каплей разрушает самый прекрасный мрамор. Врач, писатель, судья разгадали бы целую драму, соприкоснувшись с этим величавым уродством, напоминавшим те фантастические силуэты, которые художник, беседуя с друзьями, чертит рассеянной рукой на краешке литографского камня.

При виде Дервиля по телу незнакомца пробежала судорожная дрожь, подобная той, которая охватывает поэта, когда среди безмолвия ночи внезапный шум отрывает его от творческих мечтаний. Старик быстро сдернул с головы шляпу и поднялся со стула, чтобы поклониться молодому поверенному. Кожаная подкладка шляпы, очевидно, изрядно засалилась, и парик, прилипнув к ней, незаметно для самого полковника Шабера обнажил голый череп, чудовищно изуродованный косым шрамом, который шел от затылка до правого виска, образуя на всем своем протяжении толстый выпуклый рубец. Этот рассеченный надвое череп казался таким страшным, что ни Дервилю, ни его помощнику было не до смеха, когда грязный парик, которым несчастный прикрывал свой шрам, внезапно поднялся над головой вме-

сте со шляпой. Их первой мыслью при виде этой раны было: «Так вот откуда улетучился разум!»

«Пусть он и не полковник Шабер, во всяком случае, он настоящий воин», – подумал Букар.

– Сударь, – обратился к посетителю Дервиль, – с кем имею честь говорить?

– С полковником Шабером!

– С каким полковником Шабером?

– С тем, что погиб при Эйлау, – ответил старик.

Услышав эту странную фразу, письмоводитель и поверенный обменялись быстрым взглядом, говорившим: «Да он сумасшедший!»

– Сударь, – начал полковник, – я желал бы открыть мою тайну только вам лично.

Неустрасимость, присущая представителям закона, – черта, достойная упоминания. То ли в силу привычки встречаться с огромным количеством людей, то ли в силу непоколебимой уверенности в надежной защите уголовного кодекса, то ли в сознании важности своей миссии юрист, подобно врачу и священнику, входит повсюду, не зная страха. Дервиль сделал знак Букару, и тот удалился.

– Сударь, – сказал поверенный, – в течение дня я не особенно считаюсь со своим временем, но ночью каждая минута мне дорога. Посему говорите кратко и ясно. Излагайте ваше дело без отступлений. Если мне нужно будет, я сам попрошу у вас дополнительных сведений. Говорите.

Усадив своего необычного посетителя, Дервиль отошел к столу, приготовляясь слушать рассказ усопшего полковника, стал перелистывать дела.

– Быть может, сударь, вам известно, – начал мнимоусопший, – что я командовал при Эйлау кавалерийским полком. Я немало способствовал счастливому исходу знаменитой атаки Мюрата, давшей нам победу. По несчастному стечению обстоятельств моя кончина является фактом, так сказать, историческим, опубликованным в «Победах и завоеваниях», где он изложен весьма пространно. Мы прорвали три цепи русских, но враг быстро сомкнул ряды, и тогда нам пришлось пробиваться обратно, к своим. В ту минуту, когда, рассеяв русских, мы уже добирались до императорской ставки, я наскочил на крупный кавалерийский разъезд противника. Я кинулся на этих упрямец. Два русских офицера – оба настоящие великаны – разом налетели на меня. Один из них ударил меня саблей по голове и глубоко раскроил мне череп, разрубив и каску и черную шелковую ермолку, которую я, по своему обыкновению, всегда надевал под нее. Я упал с лошади. Мюрат поспешил нам на выручку, но и он и весь его отряд – как-никак полторы тысячи человек промчались над моим телом. О смерти моей доложили императору, и он предосторожности ради (он все-таки любил меня) пожелал узнать, нет ли какой-нибудь надежды спасти человека, которому он был обязан успехом яростной атаки. Он послал двух хирургов отыскать меня и перенести в госпиталь, сказав им, вероятно, на ходу, так как у него были дела поважнее: «Подите посмотрите, жив ли еще мой бедный Шабер!» А эти окаянные лекаришки, видевшие, как надо мной пронеслись копыта коней двух полков, не удосужились даже пощупать мне пульс и заявили, что я мертв. Таким образом, вероятно, был составлен акт о моей кончине с точным соблюдением установленной законом формы.

Услышав столь ясное изложение фактов, хотя и странных, но все же весьма правдоподобных, молодой поверенный отложил бумаги, оперся локтем на стол и, склонив на руку голову, внимательно взглянул на своего посетителя.

– Знаете ли вы, сударь, – прервал он старика, – что я поверенный графини Ферро, вдовы полковника Шабера?

– Моей жены? Знаю, знаю, сударь. Я обращался к десяткам юристов, но все мои попытки остались тщетными: меня принимали за сумасшедшего, и в конце концов я решил

поговорить с вами. О своих злоключениях расскажу позже. Разрешите сначала ознакомить вас с фактами, объяснить, как все произошло, – конечно, в той мере, в какой я могу восстановить всю картину. Некоторые обстоятельства, кои ведомы одному отцу нашему предвечному, вынуждают меня говорить о многом лишь предположительно.

Итак, сударь, полученные мною ранения, очевидно, вызвали у меня столбняк или же я был поражен иным недугом, близким к болезни, именуемой, если не ошибаюсь, каталепсией. Как иначе истолковать то, что, по обычаям войны, я был раздет могильщиками донага и брошен в братскую могилу? Позвольте мне привести здесь одну подробность, ставшую мне известной значительно позже события, которое нельзя назвать иначе, как моей смертью. В тысяча восемьсот четырнадцатом году я встретил в Штутгарте бывшего вахмистра моего полка. Этот славный малый, единственный, кто пожелал признать меня и о котором я расскажу в свое время, открыл мне тайну моего чудесного спасения. По его словам, моя лошадь была ранена ядром в бок как раз в тот момент, когда мне был нанесен ужасный удар. Конь и всадник рухнули наземь одновременно, как картонные фигурки. Я упал направо или налево – не знаю уж, – а на меня, должно быть, свалился труп моего коня, укрывший меня от лошадиных копыт и смертоносных ядер.

Когда я пришел в себя, то оказался в положении и в обстановке столь исключительных, что мне нечего и надеяться дать вам, сударь, представление о них, рассказывая я хоть до завтрашнего утра. Я задыхался в зловонном воздухе. Хотел пошевелиться, но был стиснут со всех четырех сторон. Я открыл глаза, но не увидел ничего. Недостаток воздуха был, пожалуй, страшнее всего, и мне стало окончательно ясно, в каком положении я нахожусь. Я понял, что туда, где я очутился, закрыт доступ свежего воздуха и что мне грозит неминуемая гибель. При этой мысли я вдруг позабыл о жгучей боли, от которой очнулся. В ушах у меня нестерпимо гудело. Я услышал, или по крайней мере мне почудилось, что услышал, стенания сонма мертвецов, среди коих покоился и я. Хотя воспоминания мои об этих мгновениях весьма сбивчивы, хотя в памяти у меня все смутно, но и теперь, несмотря на перенесенные мною впоследствии еще горшие муки, затуманившие мое сознание, мне иной раз целыми ночами напролет слышатся эти приглушенные стоны! Все же страшней этих стонов была тишина, которой я до того и представить себе не мог, – подлинно могильная тишина! Наконец, подняв кверху руки, ощупывая мертвые тела, я обнаружил пустоту между моей головой и верхним слоем трупов. Я мог, таким образом, измерить пространство, отпущенное мне милостью случая, объяснить который я не берусь. Скорее всего по нерадению или в спешке могильщики побросали нас в яму навалом, и два трупа легли надо мной крест-накрест, образуя угол, вроде двух карт, как кладет их дитя, строя карточный домик. Шаря вокруг себя с лихорадочною поспешностью, потому что медлить в моем положении не приходилось, я, к счастью, наткнулся на чью-то оторванную руку, ручищу Геркулеса, которой я и обязан своим спасением. Без этой неожиданной подмоги мне бы несдобровать! Можете себе представить, с каким яростным упорством я стал пробиваться сквозь трупы, которые отделяли меня от слоя земли, прикрывшего нас, – я говорю «нас», как будто там были живые! Трудился я, поверьте, неистово – иначе, сударь, меня бы не было здесь перед вами. Но и по сей день я не могу постичь, как это мне удалось пробиться сквозь груды тел, преграждавших мне доступ к жизни. Вы возразите, что у меня имелась третья рука! И правда, действуя с немалой ловкостью этим рычагом, я раздвигал трупы и, дыша спертым воздухом, рассчитывал каждый свой вздох. Наконец я увидел свет, сударь, но он пробивался сквозь снег! В эту самую минуту я заметил, что у меня рассечен череп. К счастью, запекшейся кровью – моей собственной и кровью моих товарищей, а быть может, и лоскутом шкуры павшего моего коня – кто знает! – облепило мне голову, как пластырем. Но когда мой череп коснулся снега, я, несмотря на эту защитную корку, все же лишился чувств. Однако малой толики тепла, тлевшего еще в моем теле, оказалось достаточно, чтобы растопить слой снега, и когда я пришел

в себя, я увидел над своей головой небольшое отверстие и стал кричать из последних сил. Но солнце еще только вставало над горизонтом, и мог ли я надеяться, что меня услышат? Да и была ли в поле хоть одна живая душа? Я приподнялся, напрягая ноги, с силой упираясь в трупы, у которых, на мое счастье, оказались весьма крепкие ребра. Вы сами поймете, сударь, что вряд ли уместно было бы обратиться к ним в такую минуту со словами: «Хвала вам, погибшие храбрецы!» Короче, в течение нескольких часов я невыносимо страдал, если только это слово может передать мою ярость при виде проклятых немцев, которые, заслышав человеческий голос там, где не видно было ни одного живого существа, улепетывали со всех ног. Наконец меня спасла какая-то женщина – у нее хватило смелости, а быть может, просто любопытства, приблизиться к моей голове, казалось, вдруг выросшей прямо из земли, как гриб. Женщина сбегала за своим мужем, и они вдвоем перенесли меня в свою убогую лачугу. Должно быть, у меня снова началась каталепсия, – разрешите мне воспользоваться этим словом, дабы определить состояние, о котором мне самому ничего не известно, которое, судя по рассказам моих спасителей, являлось симптомом именно этого недуга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.